



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

И. В. Аладышкин

О ПРИСТРАСТИИ И ПОРЯДКАХ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ РУССКОГО АНАРХИЗМА

Не так много стран, в которых анархизм сыграл бы столь важную роль в революционных потрясениях, и, соответственно, в общем развитии государственности, как в России. Однако отечественный анархизм все еще фигурирует в ряду «знакомых незнакомцев», о которых много писали и пишут, но которые по-прежнему остаются фигурами глубоко неоднозначными и многоликими в избытке их трактовок. Даже если ограничиться той литературой, что приведена в настоящем сборнике, и то русский анархизм предстает предельно эклектичным феноменом. То, нередко приводящее в замешательство богатство форм борьбы за идеалы безвластия, в известной мере, отражает специфику сложного русского пути политического, духовно-нравственного и культурного раскрепощения. Вариативность же базовых принципов учения и отсутствие единых организационных основ анархизма вкупе со стремительными изменениями социокультурных условий их эволюции вели к тому, что история рассматриваемого явления в России предстала чередой непрерывных, причем, глубинных трансформаций.

Широкое проникновение идеалов предельной свободы и антиэтатистских принципов в общественно-политический и общий культурный контекст страны в эпоху кардинальных ее преобразований породило множество плохо согласующихся между собой анархизмов и порядков их репрезентации. Действительно, мистический анархизм и все прочие анархизмы, укорененные в декадентской эстетике, имеют мало общего с не менее многоплановым отечественным анархо-коммунизмом, ассоциационным

анархизмом или же иными анархизмами, заверенными революционной практикой и реалиями рабочего движения. Во всех отношениях качественно инаковый религиозный анархизм последователей Л. Толстого с трудом согласуется с махновщиной, а та, в свою очередь, не вяжется с рожденными в условиях советской России пананархизмом, анархо-универсализмом, биокосмизмом и другими не менее причудливыми течениями. Подобный ряд противопоставлений можно без труда продолжить, фиксируя как исключительно русские, так и адаптированные на российской почве западные анархизмы. Современные реалии движения со всеми его экологическими, феминистскими и рыночными реинкарнациями упорядоченности не прибавили, наоборот, скорее привнесли свою долю сумбура и путаницы.

При этом расхождения между анархизмами, пролегающие практически по всем параметрам, начиная с языка выражения идеалов до отстаиваемых форм их реализации, отнюдь не фокусируются на традиционной дихотомии коллективизм/индивидуализм, разграничений мирной и «боевой» тактики, либо противопоставлений «интеллигентских» и «люмпенских» форм движения. Большая часть анархизмов суть принципиально разные анархизмы с условно единым пафосом отрицания власти, государства, социального принуждения и реализации максимальной свободы личности, притом отрицания, лишённого единого понимания данных категорий. Не случайно бесчисленные попытки классификации отечественного анархизма сталкивались с не менее бесчисленными препятствиями, оставаясь чуть ли не главной головной болью исследователей.

Из различий и расхождений, подчас, взаимоисключающих российских «анархизмов» привычно выводилась и вся полифония оценок, мнений и трактовок. Как-то не вызывало сомнений то, что столь своеобразное и значимое направление общественно-политической жизни, порождая все мыслимые формы сочувствия и неприязни, инициировало множество бурных дискуссий и прений, а в полемику были вовлечены как верные последователи, так и принципиальные противники. Тесная взаимосвязь изменчивости анархизма с исторически обусловленными состояниями российского общества буквально подводила к выводам о том, что непростая, витиеватая история его эволюции и сопутствующей дифференциации определяла и перипетии ее репрезентации. Не стоит упускать из виду и то, что реакция на анархизм

с устойчивой амбивалентностью отношения к нему изначально отсылала к осмыслению узловых вопросов революции и перспектив развития государственности, проблем социокультурного раскрепощения, утверждения автономного сознания и пределов свободы личности.

Все так, спору нет. Однако за спецификой российского освободительного движения и социокультурным контекстом его развития забывались тесно сопряженные с ними механизмы восприятия, переживания и репрезентации анархизма. Обращаясь к трем вариантам публицистической оценки: 1) датируемой 1884 г. работе «Анархистское движение и происхождение нигилизма» сотрудника многих периодических изданий пореформенной империи Ф. Булгакова; 2) рецензии Б. Бугаева (А. Белого) «На перевале: Место анархических теорий в перевале сознания и индивидуализм искусств» времен первой русской революции и 3) памфлету К. Радека «Анархисты и Советская Россия» первых лет Советской власти, неминуемо напрашивается вывод о том, что авторы писали о качественно различных анархизмах, имеющих не так много пересечений между собой. Первое объяснение, которое напрашивается само собой — смена эпох и соответствующие трансформации анархизма*, а различия авторского взгляда отходят на второй план и, в лучшем случае, списываются на исторический контекст и политическую ангажированность. Вариативность возможностей трактовки прошлого и настоящего анархизма кажется вполне очевидной, его богатая историография наглядно доказывает это. Только очевидность эта довольно обманчива. За каждым из оценочных суждений, за каждой интерпретацией стояли не только территориально-временные, социально-экономические и политические координаты, за ними видятся порядки аналитики и фигуры самих аналитиков.

Задаваясь вопросом — кто же был в России готов публично, а, зачастую, и с оружием в руках отстаивать идеалы безвластия, исследователи восстанавливали социальный облик движения от его теоретиков и организаторов до рядового агитатора или бомбиста (в данной антологии приведена работа В. Д. Ермакова

* Даже качественные трансформации анархизма проблематизированы в отечественной историографии лишь в 70–80-х гг. прошлого столетия (См. об этом: *Ударцев С. Ф.* Политическая и правовая теория анархизма в России: история и современность. М.: Высшая школа права; Форум, 1994. С. 82–85).

«Портрет российского анархиста начала века»). Обобщающий портрет российского/русского анархиста дополнял анализ ключевых фигур движения, а также исчисляемые сотнями работы о М. Бакуanine, П. Кропоткине и Л. Толстом. Однако за фигурами самих анархистов в тени оставались другие вопросы, которые вообще редко артикулировались, оставаясь неявными, либо ответы на них казались очевидными. Кто в России писал не теорию анархизма, разрабатывая очередные идейные его ответвления, не его событийную историю, участвуя в очередных акциях протеста, а писал об анархизме? Кто те критики движения и самого типа анархического сознания, что задавали тон их восприятия, определяли полюса внимания, реконструировали его историю, порядки ее интерпретации и реконструкции?

Казалось бы, ответы напрашиваются сами собой — писали сами же сторонники идей безвластия, фиксируя свои успехи и поражения, отстаивая свой взгляд на ход развития движения, эволюцию теории и свои теоретические/тактические приоритеты, а заодно сохраняя «правду» об анархизме для грядущих поколений. Писали те, кому теория/практика анархизма оказывалась в разное время и в разной степени близка, а также оппоненты преимущественно из социалистического и либерального лагеря. Довольно быстро с момента своего появления российский анархизм предстал расхожей темой в художественной литературе, а со временем оказался в сфере научного анализа. Подобная градация давно вошла в историографический канон и сама по себе малоинтересна. Однако, если выйти за рамки привычных историографических схем и обратиться к реконструкции тех субъективных мотивов и непосредственных импульсов оценок анархизма, принципов толкования и общих моделей трактовки, внутреннего содержания и строения самих текстов, то откроется удивительное разнообразие интерпретационных порядков.

Нельзя сказать, что параметры критики не рассматривались в отечественных исследованиях по анархизму, но зачастую анализ формальных и содержательных свойств произведений, психологических и биографических особенностей их авторов отеснялись общественно-идеологическими параметрами. В оценке литературы по анархизму безраздельно господствовали установки на выявление идеологической направленности критики и политической позиции критиков, что во многом определялось общественно-политическими приоритетами революционного и военного времени,

а затем канонами советской аналитической практики, все еще довольно влиятельной в современных исследованиях.

Однако принципиальны ли политические предпочтения при сопоставлении текстов Г. Плеханова и Н. Минского со столь схожими заглавиями, обыгрывающими противопоставление социализма и анархизма? Насколько важны идеологические приоритеты в сопоставлении текстов таких авторов из формально единого лагеря, как, например, А. Боровой и братья Гордины, А. Карелин и Г. Чулков, или же А. Луначарский и С. Канев. А между тем, сам ракурс освещения анархизма в каждом из обозначенных случаев принципиально различен и вряд ли объясним, исходя исключительно из идеологических установок, дополненных в ряде случаев временной дистанцированностью.

Основания и механизмы репрезентации русского анархизма, как и позиции задействованных в ней сил, проблема сложная, многогранная и выходящая далеко за пределы собственно литературы по истории освободительного движения. И здесь мы остановимся лишь на некоторых ее нюансах, которые меньше всего обращали на себя внимание, а между тем играют существенную роль в многоликости анархизма, интересах и пристрастиях в его реконструкции.

Комплекс литературы по анархизму — это огромный массив произведений широчайшего диапазона видов и жанров, а также изданий, что наряду с жанровыми нормами предъявляли свои требования. Текстам присущи стилистические вариации, богатство тональностей и назначений, курсирующих от дескриптивно-аналитических претензий до пропагандистских, полемических задач, либо действующих в угоду образности художественной литературы. Чему только репрезентация анархизма не служила — изучению и назиданию, оправданию и обличению, оценки призывали и опровергали, возвышали и принижали, осмеивали и соперничали. И каждый раз эти репрезентации и оценки добавляли новый голос в разношерстный хор суждений, причем этот голос использовал свой «язык» (понимаемый, разумеется, не в узком лингвистическом, а в широком семиотическом смысле).

Обращаясь к произведениям Вяч. Иванова, Г. Чулкова, иных авторов, сопряженных с мистическим анархизмом в литературной жизни первой декады прошлого столетия, просматривая рассуждения о безначалии Н. Минского, Д. Философова, Ф. Сологуба,

В. Брюсова, А. Белого и других представителей отечественного символизма, становится очевидно, что имеешь дело с текстами предельно специфическими в литературной традиции анархизма. Язык, на котором разворачивается история анархистствующих символистов, не просто принципиально отличен и мало связан с параллельно выходящими в те же годы произведениями апогетов иных течений в российском анархизме, будь то анархо-коммунизм, анархо-синдикализм, толстовство или столь же литературный казус анархо-индивидуализма. На этом языке выстраивается оригинальная реальность российского анархизма, практически не имеющая точек соприкосновения с иными его ответвлениями. Ведь и политическая философия анархизма, и революционная его практика в итоге подчинялись декадентской романтике «последнего освобождения», в которой идеи безвластия служили то «Вселенской соборности», то «...последней религиозной борьбе и идеалу теократии — нового Иерусалима».

Языковые разграничения немало способствовали локализации и обособлению отдельных анархизмов, которые оказывались труднопереводимы в отношении друг друга, а подчас и не распознаваемы для критики. Тех же мистических анархистов не видели и не желали видеть сторонники анархо-коммунизма, да и все «практические анархисты». Рядовые активисты движения, те, что составляли основную его массу, были настолько далеки от призывов поборников мистического освобождения, что скорее распознали бы в последних не идейных соратников, а идеологов реакционной буржуазии. В свою очередь, в глазах анархистствующих символистов кардинально преломлялись любые акции анархистов-практиков, а стачки, экспроприации, иные привычные методы революционного действия истолковывались как символы возмущения духа и преображались в акты трансцендентальной борьбы с системой мироздания.

Различия языка, выступающего своеобразным кодом в прочтении, определяющим восприятие тех или иных фактов в соответствующем историко-культурном контексте, зачастую недооценивались в анализе образов российского анархизма. В то время как его критика нередко предстает как процесс не столько открытия, сколько порождения новых аспектов и смысловых надстроек анализируемого явления. Критика преломляет, изменяет и, в конечном итоге, выстраивает свой анархизм, доступный для прочтения, интерпретации и ожидаемой реакции.

В качестве одного из ключевых строительных средств язык выступает силой, организующей информацию, обуславливающей ее смысловые нагрузки, коннотационный ряд, а, следовательно, и отбор значимых фактов, включая установление той или иной связи между ними. То, что не описывается на конкретном «языке», по сути, вообще не воспринимается и выпадает из поля зрения. Так, долгое время из сферы интересов историков российского анархизма «выпадали» не только анархистствующие символисты, но чуть ли не весь постклассический анархизм. Судьба последнего в анарховедении объясняется не только немногочисленностью сторонников и «мирным» характером большинства форм постклассического анархизма. Со всеми анархистами-универсалистами, анархо-мистиками попросту не знали что делать и как к ним подступиться с традиционных марксистско-ленинских позиций.

Наглядным примером преобразующей роли языка может служить как раз литература советского периода с ее определенным набором штампов, расхожих формул и оборотов, своего рода символов эпохи, которые были так легко распознаваемы в стране Советов, а ныне теряют свое первоначальное значение для нового поколения исследователей, все более удаляющегося от будней строительства социализма. Причем «язык», а, соответственно, и базовые «механизмы» описания заметно варьировались на различных участках того или иного интеллектуального пространства и со временем претерпевали качественные изменения. Вариативность интерпретации на языке определенного интеллектуального пространства со всей очевидностью проступает в эволюции критики анархизма российскими марксистами, начиная с Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, И. В. Сталина, А. В. Луначарского и далее в работах 1920–1930-х гг., а затем и послевоенных советских исследователей.

За служащими исходными основаниями языковыми порядками, проступают модели описания и трактовки, действующие в качестве априорных схем анализа. Представления об анархизме — явлении предельно аморфном как в теоретическом, так и в организационном плане, всегда были особенно зависимы от выбора определенных моделей его репрезентации, в частности от тех, что условно можно было бы назвать абстрактными и конкретными. Одно дело умозрительное, теоретическое восприятие отечественного анархизма, воспроизводимое на страницах

философско-публицистической, исследовательской литературы, в работах Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, И. Т. Назарова и др. авторов, оперировавших преимущественно общеанархистскими идеалами освобождения личности, отрицания власти и авторитета, причем оперировавших на бумаге, на досуге, либо на профессионально-литературном поприще. Совсем другим анархизм представал в пропагандистских кружках, в листовках и брошюрах, обращенных к широким слоям населения («Открытое письмо “молодым” социалистам-революционерам», «Война Войне», «Декларация Московского союза идейной пропаганды анархизма» и т. п.).

Отвлеченно теоретический взгляд, как правило, жестко привязан к определенному, преимущественно идейному и психологическому эталону, к некоей «последней правде» анархизма, которая обычно рассматривается как исходный образчик, с которым и сверяется всё многообразие его теории и практики. Тогда как оценочные критерии большинства практиков в рамках тех или иных ответвлений отечественного анархизма куда более подвластны текущим полемическим задачам, реалиям революционной борьбы и той обстановке, в которых она развивается. Представления об анархизме всегда «разрывала» эта двойственность, когда, с одной стороны, речь шла о чем-то абстрактном и лишь внешним образом связанным с реальным движением, или же, напротив, конкретном и, в принципе, от него неотъемлемым.

В отличие от абстрактных установок конкретно-практические ориентиры качественно разнородны и сопряжены не с основополагающими принципами учения, а с предельно изменчивым событийным планом, либо с конкретным идейным основанием того или иного течения в анархизме, как в случае с текстами Я. Новомирского, Н. Рогдаева, А. Атабекяна и др. В результате образы анархизма, рисуемые апологетами его отдельных ответвлений либо их оппонентами, редко мыслятся отдельно от имен и фактов, на которых они выстраиваются и к которым они апеллируют. В абстрактных параметрах оценки исходное представление об анархизме оказывается привилегированным критерием, в конкретных же моделях представление даже о сущности анархизма самым непосредственным образом зависит от акционального его среза. Безусловно, обозначенные модели крайне редко выступают в своем чистом виде и все же их нетрудно раз-

личить при сопоставлении первых исторических исследованиях русского анархизма Л. Кульчицкого, Б. Горева и более поздних советских авторов, посвятивших свои труды всепоглощающей «борьбе» большевистской партии с этим «мелкобуржуазным» и псевдореволюционным явлением.

В отличие от первых историков анархизма и советских исследователей, небезызвестный церковный деятель А. И. Введенский в своей работе «Анархизм и религия» выбрал очень своеобразный ракурс освещения проблемы. Анархизм он понимал очень широко и под его общие представления о безначалии подпадало и «самоутверждение личности, доходящее до включения всего мира в узкие рамки индивидуального сознания (от Канта и Фихте до самого крайнего солипсизма)» и «всё позволено человеку» (Достоевский), со всеми вытекающими отсюда реально-практическими последствиями. Стоит ли говорить, насколько анархизм, рисуемый Введенским, был не схож с тем, каковым его предлагало большинство иных авторов.

В конечном итоге критика анархизма у Введенского предстала не сходящей с церковных подмостков драмой «человекобога». Менялись лишь декорации, а так это была старая и хорошо известная церковная драма о секуляризации, лжесвятынях и гуманистической антрополатрии. Под стать театрализованному представлению были подобраны и «актеры» — выразители самого духа анархии: М. Штирнер, показавшийся самым глубоким, и, в первую очередь, самым философичным из теоретиков анархизма, да Ф. Сологуб за его публицистические опусы времен первой революции с неприкрытыми религиозными мотивами, что, возможно, так и задело священника. Однако в выборе объектов анализа прослеживается не только полемический прием, но и близость языка. В отличие от Ф. Сологуба, действительные апологеты анархизма в России и в теоретических своих выступлениях и в воззваниях обращались преимущественно к вещам очень далеким от интересов А. Введенского, да и писали о них на совершенно чуждом для него языке.

Упования на научную объективность, на философское обобщение, культурологический анализ и историческое изучение российского анархизма, которое-де призвано собрать воедино все разноплановые его составляющие и подвести их под общий универсальный знаменатель, во многом остаются исключительно упованиями. Времена претензий социогуманитарных исследова-

ний на аутентичность изучаемой действительности давно в прошлом, а заветы подлинности и беспристрастия «классического» знания у современного исследователя, искушенного нарративами и концептами, могут вызвать лишь приступ неизбывной тоски по достоверности. В условиях, когда принципы соответствия действительным концептуально-методологическим исследовательским диспозициям, коих насчитывается не один десяток, заслонили обаяние правдоподобия и последнего знания, число вполне научных образов и вполне научных представлений о таких явлениях, как анархизм, лишь преумножается.

В то же время силовое поле современной науки привычно унифицирует многообразие знаний об анархизме под видом их объективации за счет господствующего типа историографии и доминирующих форм теоретического мышления, организуя, систематизируя разнородный и фрагментарный материал. Объективация, сменившая, в известном смысле, претензии на объективность, призвана сдерживать произвол критики и корректировать сложившиеся к настоящему времени многочисленные варианты описания и интерпретации анархизма, концентрирующие внимание на различных его аспектах. Однако, механизмы научной объективации следуют по стопам пристрастий критики, выстраивая из истории русского анархизма своего рода исследовательские маршруты с разветвленной системой указателей, располагающих все многообразие идей и событий в довольно строгом и последовательном порядке, вне которого анархизм уже и немислим.

В текущей исследовательской практике анархизм видится неким абстрактным когнитивным концептом, связывающим неявным образом имена и события в условное единство либертарной плоскости. Очертания этого единства весьма подвижны и нередко изменения представлений о российском анархизме, его пространственно-временных и содержательных границах практически не связаны с трансформациями самого анархизма. Так, представления о протоанархизме в России, будто бы уходящего корнями в сектантство (странники, духоборы) и вольное казачество, как и обнаружение неких предвестников русского анархизма в лице К. С. Аксакова, Н. В. Соколова, Н. Д. Ножина, Н. П. Баллина, А. А. Козлова или других представителей общественной мысли 1830–1860-х гг. оформлялось благодаря действию совсем несхожих импульсов. Весомую роль в этом сыграли стремления подчеркнуть оригинальность русской мысли и, одновременно, желание

увязать ее с западной интеллектуальной традицией; намерения ряда сторонников анархизма «углубить» историю антиэтатизма в России и расположение к отдельным мыслителям, а в случае с советскими авторами действовало, прежде всего, поступательное расширение контекста исторического анализа и переосмысление самого феномена анархизма.

Однако принятие креативной роли исследовательских практик в оформлении тех или иных образов анархизма, воспроизводимых как дореволюционными и советскими, так и современными авторами, не рождает сомнений в текущих порядках изучения анархизма. Сомнения усыпляет общая терпимость к скепсису и устойчивое нежелание видеть в сложившихся исследовательских маршрутах очередные полюса критики со своими интересами и пристрастиями. В то же время львиная доля исследовательской литературы по российскому анархизму написана людьми, непосредственно сопряженными с его историей, и относится к внутренней, рекурсивной критике*. И ошибочно было бы полагать, что подобная самокритика осталась в прошлом революционных десятилетий, а если и сохраняется в современных образах анархизма, то легко отделима, как минимум, в отношении исследовательской практики. Среди исследователей анархизма и сегодня доля лиц, в той или иной степени сопричастных с движением, остается довольно высокой, что неминуемо влечет заметный отпечаток своеобразного пристрастия и всех тех «грехов» причастности, когда предельно размыта грань между историей, которую рассказывают, и историей, которую делают. В то же время эта внутренняя история анархизма всегда отягчалась смешением всех мыслимых личных и групповых интересов, стремлений к размежеванию и самоанализу, апологии и отречению.

Авторами другой значительной части исследований анархизма оказывались его многочисленные оппоненты, едва ли менее пристрастные в своих оценках, благодаря которым сторонники идей безвластия кочевали из лагеря глашатаев революции к проводникам консервативной мелкобуржуазной идеологии. Возможно, сегодня, когда анархизм малозаметен на политической арене, большинство авторов лишены столь очевидных оснований при-

* Эту характерную черту историографии российского анархизма отмечали уже советские исследователи (См.: *Корноухов Е. М.* Борьба партии большевиков против анархизма в России. М.: Политиздат, 1981. С. 11).

страстия? Вероятно. Только в их работах заметно другое — в них очевиден интерес и общее расположение, а подчас и откровенное сочувствие, которое усиливается вовлеченностью, если не в само движение, то в процесс его осмысления со своими скрытыми мотивами рецепции, инверсии и действием реактивных сил.

По крайней мере, современное научное знание смирилось с наличием равноправных моделей изучения прошлого и анализа настоящего русского анархизма, а, соответственно, признает и множество отдельных, подчас слабо связанных между собой, а то и автономных его образов. Привычной становится недосыгаемость «последней правды» анархизма и непреодолимость расстояния между реалиями движения и формировавшимися литературными традициями их описания и анализа. Не вызывает сомнений опосредованность любых интерпретаций к тому анархизму, что предстал в сознании большинства его сторонников, воспитанных на устной пропаганде, листовках и расхожих брошюрах, кто усваивал идеалы безвластия и принципы борьбы скорее интуитивно, не вдаваясь в хитросплетения теоретических оснований. Любые исследовательские стратегии так и не раскроют того анархизма, каким он виделся массе обывателей начала века, что по словам А. С. Глинки были «замордованы всякой левизной»*. За редким исключением, как рядовые члены анархистского движения, так и обыватели оставались безмолвны, а те сведения о них, которыми оперируют сегодня исследователи, — сведения из вторых рук. В свою очередь, «вторые руки» писали на ином языке, оперировали иными образами и опирались на иные схемы интерпретации событийного текста.

Отказывая в доступности некоего аутентичного анархизма вне сложившихся традиций его описания и анализа, вне представлений о нем исследователей, либо иных заинтересованных лиц, остается смириться с тем, что и прошлое его открывается лишь в свете его репрезентаций. И потому из того, что можно предложить сегодня по истории российского анархизма, максимально беспристрастным, как это ни странно, оказывается объединение интерпретаций со всеми «за» и «против», со всей контрастностью и полярностью оценок. Конечно, широчайший диапазон интерпретаций и оценок русского анархизма в одной книге не охватить, сколь объемна бы она ни была. Остается немало тем и оригиналь-

* РГАЛИ. Ф. 548. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 25.

ных трактовок, которые, несомненно, заслуживают внимания и сохраняют потенциал преобразования наших представлений об анархизме. Неисчерпаемость интерпретационных порядков кажется очевидной. Процесс осмысления русского анархизма продолжает свое движение, изменяясь в силу трансформации общенаучных порядков, контекста изучения и, конечно же, дальнейшего развития истории самого русского анархизма. И это лишний раз оправдывает поиск беспристрастия в открытости и незавершенности репрезентаций.

